Летний свет на трещины тороват —
легкой тени зубчатые края
разрезают грянувший виноград,
и дробится гроздьев его струя.

На десятки брызг — раскардаш листвы,
желтых ягод, жил, кривизны лозы.
И размеры бедствия таковы,
что оно огромней любой слезы.

И восторг, и ужас бессильны там,
где разъятья света ветвится ток,
зной бушует, плещется птичий гам,
выкипает воздуха кипяток.

Прогорает день до глазного дна,
в толще мякоти будущему вину
вся изнанка ночи уже видна
грозовым размером во всю страну.

Ужин дачный на участке у межи.
Светляки, клубника, россказни, ежи.

Тени лиственной стирающийся край.
В города перед компотом поиграй.

Поплывут средь порыжевших низких крыш
Прага, Вена, Филадельфия, Париж

к неисправной водокачке в сосняке,
к запоздавшей электричке за мостом.

Пух по ветру, паутина по щеке,
свет по веткам в угасании косом.

И под дедовское чтение газет
от каникул и еще один денек
отступает за веранду, за клозет
и в костерный превращается дымок.

Мировые точит зубы капитал.
Всласть военщина ослушников щемит.
Тот борзел, тот напряженность нагнетал,
потому как проститутка и наймит.

Как дымит, как изгаляется сушняк
пеплом высветлить темнеющий июнь.

Усмань, Масловка, Маклок, Коротояк.
Покатай во рту согласные да сплюнь.

Сырость ранняя с подлесковым душком.
Это облако садится на сады.

Смеряй улицы заросшие пешком
от крылечка до протухшей до воды,

до сторожки, да смотри не забывай
дальних весей, мнимых далей имена,
чтобы будущий баян или абай
сбацал песню про такие времена,

где обрывки подростковой болтовни
выдавали карту завтрашнего дня
и отеческие тщетные огни
нас от завтра берегли, как от огня.

заморочки нездешнего рода
за внезапной чертой маеты
над разливом закатного йода
громоздятся речные мосты

отороченный лиственной рябью
неизвестен и жуток маршрут
и подошвы дорогу ухабью
как огниво без устали трут

дабы вытрудить искру вдобавок
вопреки укоризне зари
и прибыток на крайней из лавок
раздувать и баюкать внутри

обрывать заскорузлые узы
зыбкой яви с уловками слов
многоточия а не союзы
вызволять из медвежьих углов

перещелки невидимых тварей
перебивки развилок и круч
перегорклый рассыпчатый карий
точно запертый кем-то на ключ

тесный воздух горючего лета
присный ворох колючих теней
светляковую сыпь до рассвета
осыпь черного йода над ней

Прежде чем вымолвить, медлишь который раз —
будто избыток речи тебя слепит,
и на поверку свет состоит из фраз —
как из зеркал и проволочек — софит.

Будто бы слово предполагает зал —
темный, с возней и кашлем, фольгой конфет —
и если ты, что обязан, во тьму сказал —
там обязательно вспыхнет ответный свет.

Будто бы шепот, ерзания, смешки
от сотрясений всуе воздушных масс
пухом июньским вспыхивать широки
до холодка по коже и слез из глаз.

Смотришь в июнь и пристально говоришь:
«Вот и сезон заканчивается речей.
В кои-то годы преобладает тишь —
даром, что кровь пуще прежнего горячей.

К небу язык прирастает, мелеет мгла,
зал непомерно ширится в никуда.
Публика все по глазам прочитать могла,
только ее не отыщешь уже следа».

Свет занимается дальний,
блики снуют по стеклу.
Черный и пирамидальный
тополь уходит во мглу.

Розные и золотые
блестки скользят в никуда —
как по строкам запятые,
словно слова — ерунда,

словно кромешная ересь —
все, что темнеет в окне,
и, в сотворенном изверясь,
бог маякует извне.

Словно залог продолженья —
суть не слова и дела,
а световые скольженья,
окон ночных зеркала,

легкий наклон тополиный,
длинная тень до угла,
над черноземом и глиной
полурассветная мгла,

дрожь ожиданья, испуга
лиственный шум угловой,
трассы небесного круга
над колготной головой.

Вот и вишен почти не осталось
в детской миске, где стерлась эмаль.
Не спеши, пораскушивай малость —
уж на что, а на это не жаль

в наползающих сумерках жизни,
допоздна шелестящей в саду.
Соком вымажись, мякотью брызни,
в темноту оступись на ходу.

Острый воздух разгара сезона
как дразнилка дрожит на губах.
Если помнишь: «Держи фармазона,
шито-крыто, бабах-карабах».

И бессмысленным счастьем пострела,
обожателя абракадабр —
черной ягоды спелое тело,
юной ночи нечаянный дар.

И по дну оголенному шаря,
на подушечки пальцев дыша,
улыбнется прощально и шало —
дескать, вишня была хороша,

пустяки, что не выдался случай
задержаться на этом пиру
с темной радостью, сладостью жгучей,
чутким сном в грозовую жару.

Если все на свете принять в расчет,
время дальше больше не потечет.

Дальше больше — прямо сейчас и здесь
и оформится скорый фокус весь.

Воплотится жизни чудной почин
в паутину следствий и тьму причин.

И кругом повиснет сплошная сеть,
норовя пожизненно провисеть.

И погаснут в частых ячеях те,
кто светился запросто в темноте.

Потому как всех все равно не счесть,
чья искрила радость и грела честь.

И на каждый взгляд, и на всякий звук,
осторожный, не претендовал паук.

И расчислить выйдет ли, почему
выходило весело петь во тьму?

Погодков таборное шествие
с вещами прежними на выход,
где все собранье разношерстное
нелепых счастий, странных выгод,

любовей с вылетами в лютое
кидалово полузабвенья,
где имена и даты путая,
времен выскакивают звенья.

Ах, эти с выходом цыганочки!
Ах, эти цыпочки на цырлах!..
В зарплатных ведомостях галочки.
Отсидки с отпрысками в цирках.

Удушливое окружение
шального мира чистогана.
Всеобщее разоружение —
незаживающая рана.

Сильны слезами кээспэшными,
костров потешными дымами,
над шлакоблочными скворечнями
мечты печальники вздымали.

Вот и выкидывает фокусы
осоловелая компашка,
последние верстая опусы,
куражась жертвенно и тяжко.

В крапчатом небе ночном миллион прорех —
если взобраться по спущенному лучу —
то позабудешь в чаще лесной орех,
во поле ветер и во дворце парчу.

Через дырявый купол отвалишь вон —
в поле пульсаров и роковых комет,
гумус чащобный, листвы захолустной звон,
не посвящая в претензий своих предмет.

Вкрадчивый свет свинцовый, дворцовый переворот,
прежнего царства разъятие и чума.
Нужно сполна вкусить от земных щедрот,
чтоб не болеть за напрасный подзол ума.

Не разжимать фаланги и, глядя вниз,
под языком орешек тщеты катать,
несколько выше предполагая приз —
детского зрения звездную благодать.

Сад прорастает плоть и кровь
тех, кто в комплоте
с истекшим. Брови не суровь —
лихой пехоте
солдатиков и пауков
былье что былки.
Миропорядок бестолков —
лишь боль в затылке.
Твои летучие лета
на склоне лета —
прикорневая суета
и сигарета.
В горниле августа и над
окрестной комой
столпотворение монад,
рой насекомый.
Всего того, что истекло,
сплошные блестки.
Воспламененное стекло,
развал известки.
Развоплощений чехарда,
песка причуда —
сухое русло в никуда
из ниоткуда.

Вечер пробирается по крышам,
занавески в окнах теребя.
В августе под небом темно-рыжим
сладко ожидание дождя.

На пороге нового ненастья
не взыщи за старые грехи —
в тишине окраинного счастья
поминать былое не с руки.

Положи антоновки в тарелку,
чтоб молчанье наше превозмочь.
Будем нынче слушать перестрелку
яблок, обрывающихся в ночь.

Лобовые частые удары.
Голубые молнии вдали.
Ах, какие тары-растабары
мы б с тобою за полночь вели!

Дабы миром все срослось к рассвету
и не ныли битые бока
у плодов, тревожащих планету
мокрых трав и грязного песка.

Чтоб разряды прожитой тревоги
не дошли сквозь дождь и темноту.
Чтобы мы запомнились в итоге
на промытом временем свету.

Рассохся к осени сарай —
косой в прогалах свет.
Вороний грай, сплоченья край,
подмога сигарет.
На бреши брешь, куренья блажь,
горение небес.
Везде и всюду раскардаш,
и времени в обрез
к морозам щели извести
и розное скрепить,
когда темно уже к шести
и дождь готов кропить.
А будке сумрак и сквозняк,
и утварь кверху дном.
И не успеть уже никак,
и мысли об одном —
что, как былое ни храни,
а скорая зима
разъять твои труды и дни
нагрянет в закрома.
И с топором за рукоять
средь сумерек и льдин
разъятью противостоять
ты выделен один.

Черные бордовые разводы.
У моста речные теплоходы.
Августа последние часы.
Новостроек выморок фонарный
на крови языческой, янтарной
водоема средней полосы.

В западне прибрежного заката
отражений злая стекловата
от финифти нефти на плаву
яростно корябает по небу,
укоряя душу и утробу
тем, что умираю и живу.

Корабельный крик похож на птичий —
или это равенство обличий
на предельном выделе тепла.
Длинноклювых кранов развороты.
Встречных чаек гибельные ноты.
Осени небесная зола.

Резво разоряется из рубки
про ветра побед и еврокубки
радио в казенном кураже.
И сигналит фара носовая,
что темна волна голосовая —
заповедны высверки уже.

Что словам не писаны значенья,
что сердцам опасны попеченья —
все в крови над крапчатой волной.
Все острей и ярче сигарета,
все трудней видны от парапета
масло света, деготь водяной.

Ночь вырастает сразу — во весь размах
прожитой жизни с музыкой и огнями,
счастьем под кожей, лукавым теплом в домах,
вещими снами, подвигами по пьяни.

Вещи теряют контуры, крошатся в порошок,
пылью сплошною ложатся в глазные недра —
и в необъятный рушишься вещмешок,
выданный свыше на добрую память щедро.

И перегружен корпускулами пустот,
бывших кромешным адом, волшебным дымом,
на могучих плечах носителя длишь поход
по осенним весям своим незримым.

Там скудеют ветры, итожатся времена,
произрастает лед из любви и страха.
И загляденьем обморочным полна,
перемерзает кровь со всего размаха.

Все пуще крапами да пятнами
сентябрь расходится по озеру,
сигналя листьями помятыми
отпускнику и стаду козьему.

В зоологической прострации
и ботаническом унынии
резвятся выцветшие грации
и выцветают дали синие.

Над шашлыками санаторскими,
телячьей нежности разливами,
лучей неяркими полосками
шутя становятся счастливыми.

Вперед, радетели забвения,
родные сестры умирания!
Позднеземное песнопение
притормозит потемки ранние.

Пусть радость сбудется внебрачная,
пыльца осыплется цветочная,
пусть осень зыблется прозрачная,
не сообщая время точное.

Свет, разделенный на капли,
в темном сыром ивняке.
Гордая выправка цапли,
птичьи над лесом пирке.

Здорово кануть без спросу,
сладко размять вопреки
на берегу папиросу
с Летою схожей реки.

Дождь на летейские воды
сеется, скуп и упрям.
Завоеванье свободы —
донные каверзы ям.

И по теченью незнамо
где ожидать виража.
Новая жизнь или яма?
Пауза или межа?

Где сумерки загустевали,
листвы туманилась кайма,
мы все сидели-гостевали,
почти что выжив из ума.

Забыв о выморочном счастье,
стареть с листвою заодно,
не допивали в одночасье
свое последнее вино.

Оно стояло — душу грело,
покуда зрели холода
и в небе лиственном горела
позднеосенняя звезда.

Она пощадой не мешала
впотьмах ни сердцу, ни уму.
И мы оглядывались шало
на окружающую тьму.

Мерцало присное веселье,
метался холод по спине.
Не убывало наше зелье,
и звезды множились на дне.